

Александр  
БАЛТИН

г. Москва

Ж  
Е  
Л  
У  
Д  
Ь

П  
А  
М  
Я  
Т  
И

миниатюры

## ЖЕЛУДЬ ПАМЯТИ

Продолговатый, туго оформленный жёлудь в складках пластикового пакета, где лежали машинка и шарик, завяз, — так показалось отцу, одновременно сажающему малыша на детский велосипед и старающемуся удержать пакет, по складкам которого, как по ступенькам, жёлудь, точно колобок, убежавший от бабушки с дедушкой, спустился к машинке и лёг между нею и шариком.

До этого малыш скатывал машинку с гладких покатых поверхностей, беловато желтевших вдоль лестниц пустого огромного павильона на ВДНХ; скатывал, сбегал за нею, победно задира л вверх ручонку и снова взбирался, чтобы снова спустить машинку.

Гуляли более трёх часов, и игра возле лестниц была последним этапом прогулки, малыш устал, на личико его легла тень сна, и отец понял — пора домой.

Он усадил малыша, пристроил пакет на ручку велосипеда и покатил его — выехали с территории выставки, миновали гигантских, вавилонски роскошных «Рабочего и колхозницу» и застряли на светофоре, чей красный свет длился долго-долго — из-за огромности представленных тут пространств, насыщенных пёстрым движением густой на него метрополии.

Малыш дремал, сложив ручонки на руле, положив на них кудлатую головку; зелёный свет брызнул наконец, и отец покатил велосипед — вниз по улице, под взглядом седоватого, но всё же синего, ещё будто летнего, несмотря на сентябрь, неба, и потом — дворами, спускавшимися вниз, мимо детских площадок, проржавевших тополей и разной обыденной разности — к их дому.

Внёс малыша осторожно по лестнице, вверх повлёл лифт, в зеркале которого привычно своё отражение...

— Спит? — вполголоса спросила мама.

— Спит, — ответил сын, словно сам внутренне преображаясь в малыша.

Жена в офисе, на работе...

— Давай переложим осторожненько. Жалко, до обеда уснул.

И — вынимали, стараясь не беспокоить,

малыша, отец нёс его на кроватку, где и раздели: осторожно, медленно.

Малыш перевалился на бок, тихо сопя, глубже уходя в сон.

— Иди обедать, сынок, — сказала мама.

— Сейчас. Переоденусь только.

Они сидят на кухне, едят.

Борщ густ, как мечты о счастье, и сметана расходится в нём плавными полукружьями.

Гуляш с обильной подливкой, созидающей островки и архипелаги в картофельном пюре, и крепкие малосольные огурцы с пупырчатыми спинками и боками.

— Мам, а где у нас на старой квартире книжный шкаф стоял, не могу вспомнить. Буфет в первой комнате, а шкаф?

— Шкаф во второй, сынок.

— А-а... Это у стенки, да? Платяной, лакированный — и книжный?

— Ну да.

Старая, по наследству доставшаяся мебель, вернее — три предмета: буфет, книжный шкаф, огромное зеркало. Массивные роскошные изделия, густо покрытые резьбой, где завитушки виноградных листьев переплетаются с тонкими, непонятными элементами декора, а символическое нечто, венчающее буфет, напоминает голову совы. Стёклами глядит книжный шкаф как из-под очков, призывая не забывать о его замечательной начинке.

— А книжные полки помнишь? Гена делал...

— Да, это в первой комнате. — Сын пьёт чай, заедая его золотящимся мёдом.

Старая коммуналка, где жили втроём: отец, мама и он — теперь почти пятидесятилетний...

Поздний отец, ребёнок в душе.

Будто в янтаре густого воспоминания всплывает: огромность пространства той коммуналки с трёхметровыми потолками, две комнаты, разнообразие мебели. Письменный стол, чья столешница покрыта замечательными фантастическими разводами возраста, у окна первой комнаты, а всего окон было четыре, первый этаж — и выходили они во двор, куда выбегал играть, потом

выводил велосипед, потом грузили различные предметы обихода на грузовик, чтобы не вернуться сюда никогда.

Ребёнок сидит за столом и глядит на пышный ёлочный снегопад — внутри него сложные узоры и орнаменты вспыхивают то изумрудно, то рубиново, и скоро Новый год — и будут везти ёлку на санках, и огнями брызжущий город будет струить пестроту на её тёмное тело.

— А во второй комнате, ма, что стояло между окон?

— Там трельяж был. Мы его не взяли. А потом — аквариум на столике.

Он помнил аквариум: зелёную радость детства, и вспышками, пёстрыми, калейдоскопичными, картинками мешались: посещение Птичьего рынка, где покупали телескопов и скалярый, и магазинов, где брали для них корм...

А ещё... Хомячок сбежал, — да, он жил потом, после рыбок, и как выбрался из своей клетки, было непонятно — но он нашёлся, милый, палевый хомячок, он вывалился из вентиляционного отверстия во второй комнате...

— Надо ж! — удивлялся отец.

Собаки были уже потом.

Белый тюль занавесок тёк, переливаясь, играя складками, и коралловый муар сумерек медленно просачивался в комнату.

...По складкам пластикового пакета медленно падающий вниз жёлудь.

— Пойду посмотрю, ма, как там малыш — спит?

— Сам пока ложись, отдохни.

— Ага. Лягу рядом с ним.

## ПЕРЕМЕНА

— Своих лечим через себя, — сказала Стоненькая, с красным от простуды носом, якобы ясновидящая в магическом салоне, и улыбнулась.

Тесный коридор, где на стенах висели пустые, не имеющие никакого излучения ико-

ны, отливая фальшивым золотом, разветвлялся, переходя в несколько комнат, и вот в одной из них странного весьма человека принимает она.

Чем странен?

Он зыбок как будто — лицо его точно задерживается шторкой марева, расплывается, потом конденсируется опять, и ей вдруг кажется, что вместо руки у него клешня.

Она зажмуривается, и у неё начинает кружиться голова, а когда открывает глаза, видит перед собой обычного, но зло улыбающегося — ухмыляющегося скорее, человека, чей рот больше напоминает хирургический надрез.

— Что? — спрашивает он без всякого сочувствия. — Болит головка-то?

Она кивает непроизвольно, чувствуя, что головокружение прошло, а вместо него в голову, точно в пустую тыкву, кто-то насыпал шарики боли, что катаются, стучаясь друг о друга, — разве что искры не сыплются из глаз.

— Сейчас ещё сильнее будет.

Он щёлкает пальцами в воздухе, мелькает тень чёрного рыцаря в плаще, потом раскрывается прореха в воздухе, и шариков в голове становится больше, они заполняют весь череп, и мнится, твёрдая кость треснет сейчас, выпустив на волю состав жёлто-янтарного, серого в красных прожилках мозга.

Она вскрикивает, хватаясь руками за край столешницы.

— Ну, не кричи, не кричи... ясновидящая, — говорит человек. — Сейчас легче станет.

Шарики лопаются в голове, уменьшаются в объёме, растекаются плавным туманом, от какого становится сладко, как во сне; она улыбается блаженно, как идиотка.

— Как там с ясновидением? Не прошло ещё?

Он больше не ухмыляется, смотрит тяжело, мрачно, и глаза у него — серо-стальные, как у пулемётчика, этого косаря смерти.

— Так что знай, — говорит он веско, будто гирию на пол опускает, — на каждое жульничество найдётся укрощающая сила.

Круги больше не плывут перед глазами

женщины, ловким враньём (впрочем, среди прочих) зарабатывающей хлеб, она ничего не понимает — всегда считала и колдовство, и эзотерику обманом, нагромождением слов, а вот поди...

— Кто вы? — спрашивает она.

— Тот, кто раздаёт заслуженное. Уволишься отсюда, пойдёшь в детский сад — это по тебе.

Она откидывается на стуле, засыпает.

— Оля, Оля! — кричит первым приведённый мальчик Андрюша — такой симпатичный, беленький, как ангел.

— Здравствуй, зайчик, — улыбается она. — Иди скорее ко мне.

Он бежит, он обнимает её, сидящую за столом, рисующую.

— Смотри, какой слоник получается! Давай дорисуем вместе.

Отец заглядывает, здоровается с нею, прощается с малышом, уходит.

Она ждёт других детей.

На неё никогда не бывает никаких жалоб — дети ей как живая поляна, как трепетные, ожившие цветы, как крохотные, чудные херувимы; они слушаются её, бегут к ней, часто не хотят уходить, и — редко-редко, зажмурившись на миг — вспоминает она, точно проносится чёрное облачко — салон, горящие свечи, пустые иконы, стеклянные шары, колокольчики, пучки сухих трав и — обманутые люди: чередой, вереницей...

## КАК ТАМ НА ТВОЕЙ ПЛАНЕТЕ, ПАПА?

**И**звини, отец, я не помню, с каких лет помню тебя — прости за тавтологию: фразы рождаются, как миры, чтобы жить своей жизнью, и иное причудливое словесное вкрапление может сулить своеобразие, как погрешность — прелесть.

Мне кажется, вот оно — первое воспоминание: ловлю за хвостик: старая квартира в огромном доме, наполненном коммуналками

тесно, как сотами, и мы играем с тобою, вернее — ты со мной, ты улыбаешься, а я прячусь за ножкой стола — большого, со скатертью, белёющей снежно, и высказываю, и смеюсь...

И ты смеёшься, и я пробегаю между твоих ног, а ты ловишь меня, и палец у тебя забинтован...

Первая улыбка мира была явлена твоею, папа.

Сколько мне? Года три...

А вот уже... шесть, что ли?

Ты учишь меня читать, и тонкая книжица — «Подземные жители» — шуршит в моих пальцах листочками, но буквы никак не складываются в слова, и мне кажется, ты сердисься, папа.

Твоя ладонь на моём плече... Я долго почти не читал — до десяти, чтобы потом утонуть в чтении, на десятилетие заменившем внешний мир...

Сколько мы гуляли с тобой! Помнишь?

Вот Екатерининский парк — как он тогда назывался? Замечательный, отливающий золотистой зеленью пруд с утками, и кормили мы их, кроша батон или ситник, а потом брали лодку напрокат, и ты грёб...

Мешаются воспоминания, теснятся, заливают, захлёстывают сознание...

Мне девятнадцать — и в ночь тебя увозят с сердечным приступом, и я не знаю ещё, что вижу тебя в последний раз.

Утром следующего дня я был в больнице, папа, но в реанимацию не пускают, и я, выйдя из здания, массивно серевшего огромным корпусом, плакал на скамейке соседнего парка под вороний грай — предчувствуя, вероятно.

Позвонили днём — что ты умер.

Суета была — не до горя, мол, — мама тогда отдыхала в санатории. Помнишь?

Я вызывал похоронного агента, обзванивал знакомых, родных, вызванивал маму в Латвии — советской тогда...

Наплывает из опалового тумана былого — книги, марки, монеты...

Как мы ходили в клуб нумизматов, где на столах мерцало старинное серебро, а люди были хитры и самоуверенны, а ты — физик,

путешественник, певец: чего ты только не мог! — в чём-то наивен был... да... едва ли нынешнее время подошло бы тебе, может, поэтому так рано и умер — в пятьдесят два?

Морг, поминальный зал.

Меня потрясло — не дышишь, хотя знал, что это тело твоё, не ты...

Прогулки по Москве ветвились, тянулись — мы, наверно, проходили в общей сложности несколько лет; мы изучали московские переулки как науку, ты брал с собой путеводители, старые книги.

А буки!.. Очарование тех старых московских букинистических, где ветхие книги под синеватым стеклом прилавка казались причудливыми бабочками, несущими собою миры!

Встречались со спекулянтами — ты всегда хорошо зарабатывал, мог позволить дорогие покупки.

Когда я заболел историей кино, ты перезнакомился со всеми тогдашними подпольными торговцами билетами в «Иллюзион» и переплачивал столько, что дух захватывало! Один из этих торговцев, кстати, звонил через месяц после твоей смерти — так странно было.

Мне сейчас чуть меньше, чем тебе, когда ты умер. Видишь ли ты меня? Вечная иллюзия или непостижимая правда?

Мне мнилось часто, что рядом ты, смотришь на меня, продолжаем говорить, раз так мучительно не договорили за жизнь, за короткие её годы.

...А было — шёл я в снегопад — яблочный, роскошный, шикарно пахнувший — шёл переулками, и собор, встававший на фоне чернеющего неба, был мистичен и таинствен, и почудилось мне, что обогнал ты меня — да, это ты и твоя кожаная куртка (мама привезла из Польши) поскрипывает, и я спешу за тобой, и ты оборачиваешься, улыбаешься, говоришь:

— Сынок...

Нет, чужой человек обернулся, смущённый, видимо, моим ускорившимся шагом — и я просто обогнал его, думая, как мучительно мне тебя не хватает, отец...

Не хватало все годы...

Где твоя планета, папа? Какие там парки?

Вдруг там слышны мои стихи, а?

У тебя внучок родился — три года ему, сегодня отвели в сад — а я, помнишь, рыдал и бился в первый день, хотел сбежать из сада...

Малышок, который никогда не узнает тебя, тоже не хотел идти, но не рыдал, нет. Он похож на маленького ангела — светловолосый и голубоглазый... И я иногда, смотря ему в глаза, точно гляжу в себя...

...Машины, вдвинутые в арку роскошного леса; вы, взрослые, жарите шашлыки, открываете бутылки вина.

Пруд чернеет неподалёку, и в нём видел я тритона — нежного, золотистого, точно озарившего на миг тёмную воду, видел первый и последний раз в жизни.

А вот вы, выпив, гоняете мяч с дядей Валею (его убьют в 94-м году) и дядей Витей (он жив, он похоронил Игорька, сына, который разбился в автокатастрофе двадцати трех лет от роду), и виртуозность, с которой ты обводишь их, отбирая у них мяч, лёгкость твоих движений — хотя ты полный уже — поражает обоих: не верили, что много и страстно увлекался спортом, что имел разряды сразу по нескольким видам...

Мимолётное воспоминание, краткая ласка пепельных осенних сумерек — ибо мы гуляем с малышом, твоим внуком, я везу его на детском велосипеде, и скоро он увидит пёструю площадку, и выскочит, побежит к ребяткам...

А это... это что? Тополя золотисто склоняются надо мной, лежащим в коляске, которую везёшь ты, папа, читая одновременно газету — но этого нельзя помнить, приснилось, наверно.

Иногда мне кажется, что приснилось, будто ты умер, что не мог ты умереть, — так, шутка, и вот же — зайдёшь, вернувшись с работы, и я выйду тебя встречать и спрошу:

— Как там на твоей планете, папа?

## НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Ёлочные базары пестро темнели в черноте декабрьских вечеров; и ёлки казались таинственными, как зачарованные страны. Острый и славный аромат хвои дарил ощущение счастья; и на истоптанном снегу, когда выбирали чудное новогоднее древо, суммы ветвей и чёрно-зелёные мягкие иголки давали причудливый орнамент. Выбранную и купленную везли на санках, причём верхушка её, равно и нижние ярусы пружинили от движения, покачивались.

Город плыл и играл огнями, переливался движеньем людей и машин, и всё время кто-то входил и выходил из дворов, как из бесчисленных коридоров. Важные троллейбусы проплывали мимо, неспешно везя скарб различных судеб.

Сворачивали и шли вдоль огромной стены старого коммунального многоквартирного дома, шли, замедляя шаги, точно искусственно удлиняя путь, ибо запах снега, мешавшийся с упоительной хвойной струёй, был великолепен.

А жили тогда на первом этаже, и широкие окна были посажены низко к асфальту, но забраны белыми, в пандан<sup>1</sup> снегу, решётками.

Ёлка вносилась торжественно и важно, нижние ярусы её ветвей слегка корректировались при помощи ножниц, доставалось ведро, наливалась вода со специальными добавками, и устанавливалось древо, медленно поднималось оно, упиралось главою в потолок.

— Вот там держи, — говорил отец, и мальчишка держал, и лёгкие уколы были нежны, как ласка.

— Осторожно, Лев, привязать надо, — мама вставляла реплику.

— Да-да, — соглашался отец, точно привычный ритуал терял детали, год ожидая в запасниках радости.

Привязанная и установленная между двумя окнами ёлка виделась роскошной и без украшений, но доставались они; из недр антресолей изымалась старая, с ободранными бока-

<sup>1</sup> Пандан — сходно, в соответствии и т.п.

ми и крышкой коробка, — важная, как старинный ларь; и крышка снималась так, будто врата распахивались...

Мишура мерцала серебром, играла розовым и синим цветами сверху, потом, завернутые в фольгу или бумагу, доставались — являлись на свет — игрушки...

Их доставали осторожно, освобождали от обёрток, раскладывали, думали, какую куда лучше повесить.

Верхушек было две — на выбор. Отец забирался на стремянку и украшал ёлочную вершину яркой звездой.

— Болгарский гномик разбился. Жаль, — говорила мама.

Знакомые болгары подарили чудесные игрушки: тонкие, хрупкие, брать надо было с замиранием сердца — не дай бог уронишь, и тогда хрусткие брызги, криво отражающие реальность комнаты, лягут на пол, оставив оттенок грусти в душе.

Ёлка одевалась постепенно, игрушки вешались густо, сверкали; важные, как вельможи, шары поворачивались слегка, играя выпуклыми боками; и гирлянды, пропущенные меж ветвей, точно соединяли дорогами фантастическую страну.

— Последний штрих, — говорила мама и приносила вату. — Ну, сынок, давай.

И мальчишка, отделяя от плотного рулона кусочки, кидал их на лапы, старался попасть поглубже, в таинственную зелёно-чёрную глубину. Он кидал вату, чувствуя сладкое, волшебное умиление в сердце сознания, он предвкушал новогодний праздник, ожидать который так долго, что не хотелось бы его завершения; и он, мальчишка, разбрасывая искусственные снежинки, вполне уверен, что может быть бесконечным мгновение, может! Что вырастать необязательно, а если захотеть, то спокойно можно навсегда остаться в детстве, с папой и мамой, в пределах чудного новогодья...

## ОСТРИЕ ИГЛЫ

**Н**равится ли вам срывать яблоки абсурда? Впрочем, где вы их видите?

Всё конкретно в слепо-материальном, таком бюрократизированном, подчинённом деньгам мире...

Белые коридоры, сегменты ячеек операционисток, масса объявлений, пёстрый детский уголок — мир единого расчётного центра, и некто, зашедший расписаться в бумагах и не раз кусавший яблоки абсурда за литые бока, сидит уже сорок минут, ожидая... чего? Он и сам не понимает, что делает тётка в фирменном костюме, отъединённая от него пластмассовой и пластиковой перегородкой.

Груда бумаг выползает из аппаратуры, она читает их, шлёпает печати; бумага множит бумагу, парализуя течение жизни — как законы, думает некто, где параграф наползает на параграф, комментарии тучнеют новыми комментариями, а сумма их, принятых, никак не меняет жизнь в лучшую сторону — будто она вообще, жизнь то есть, организована только для богатых, а все остальные — пища их, и не более...

Аппаратура тихо гудит, новые бумаги, покрытые убористыми сетками текста, выползают из щелей...

Птицы влетают в помещение — чёрные птицы, несущие в клювах вороха бумаг; их оперенье посверкивает антрацитом, а клювы тяжелы, и выдержать удар такого...

Птицы роняют бумаги, и операционистка вскакивает, кружась и танцуя, подхватывает бумаги с радостным гиканьем, и ликованье её подхватывают птицы, что кружатся над растрёпанной головой этой жрицы бюрократического храма; они сливаются в едином танце, уносятся куда-то...

Некто сжимает руки, вонзается ногтями в ладони; он понимает, что явь никуда не делась — вот она: конкретно-осязаема, скучна, и тётка в окошке продолжает шуршать бумагами; но птицы, птицы... Были же они?

Страшно каркая, вороны загоняли кошку

под огромную дверь котельной: они налетали на неё, грозили клювами, и чёрное «кар-р!» раздирало воздух, как крючья.

Кошка ускользала, уворачивалась, наконец ей удалось забиться под дверь...

Удастся ли мне?

— Так, — подняла глаза тётка. — Читайте, всего четыре заявления будет. Читайте внимательно, сверяйте паспортные данные, мобильный, электронную почту.

Снова бумаги.

За соседним окном, долго и нудно, бабка объясняется с другой тёткой:

— И сказали, подавайте в суд, а я не знаю, как и где собрать бумаги, что нужны и какие нужны, и хожу, хожу...

— Послушайте...

Ровное гудение растворяется в попытках концентрировать внимание, чтобы не сбиться с рядов мелко набранных циферок и букв.

Он подписывает, ему хочется вырваться из этой бумажной ловушки.

Да, — он выходит на улицу, где в раннем, сентябрьском, ещё несколько золотом — будто лето продлилось — свете нет никаких чёрных птиц, адских бумаг, и не растут деревья, дающие яблоки абсурда.

Тем не менее есть они — неужели такая организация жизни, когда много часов приходится проводить в ожиданиях неизвестно кому нужных справок, выписок и проч., мучаясь образами, что продуцирует бедный, немолодой, усталый мозг — может считаться естественной и логичной?

Машины летят, светофор брызжет красным, останавливая их, и человек, идущий теперь в магазин, чтобы купить примитивных продуктов, так и не может понять — были всё же птицы? Померещились?

...Не есть ли пресловутый тоннель, якобы виденный многими, пережившими клиническую смерть, последняя, исступлённо-напряжённая работа мозга? Ведь он ещё жив, а недра его, бездны с лучевыми высверками, туго затянутые нейронные сети едва ли известны до последней йоты.

Птица черноклюво разевает пасть, прег-

раждая вход в магазин, где не купить яблок абсурда.

Никто не видит её — ни старик, выходящий с авоськой снеди, ни молодая мамаша, выкапывающая коляску, ни пожилой, красномордый пузан, который тащит сумки, переполненные различно упакованной едой.

Но я же вижу — вот она, птица, и если взлетит сейчас, то...

Она взлетает, вход в магазин освобождается, и когда некто через пятнадцать минут выходит с хлебом, макаронами, кефиром в пластиковом пакете — больше не появляется, позволяя ему свободно вернуться в квартиру, чтобы жить ещё какое-то время.

Жить в мире, столь густо загромождённом бюрократической мебелью, в мире такого количества условностей и неясностей, что все разговоры о свободе не ценнее средневековых споров о количестве чертей, способных уместиться на острие иглы.

## ОГНИ СЧАСТЬЯ

Одна из пятидесятилетних антоновок в семействе других разрослась особенно мощно, и толстый длинный сук её кидал петлистую тень на один из бабушкиных розовых кустов.

— Гена, — ворчала бабушка, — сколько раз просила: спили этот сук, мешает розе, так нет же...

Сухо-мускулистый, крепко сбитый, подвижный как ртуть крестный, бородатый и жизнерадостный (приятели звали Фиделем), улыбался в ответ.

— Как же спилю-то, мать? Ведь ребята так хорошо сидят на нём.

Сын и племянник не только сидели, но и лежали на просторном этом, отчасти плоском суку, и даже шала затаскивали на него Белку — пушистую, типа болонки собачку, прибившуюся к дачному жилью.

— Она умеет улыбаться, — говорил двоюродный брат другому.

— Ага. Замечательная такая.

Вся в колечках, в изящных завитках белой шерсти Белка виляла хвостом.

Старая груша давно не плодоносила, сухие

ветви её, точно изъятые из старинной гравюры, вторгались в летний воздух, вовсе не воплощая собою предсмертный стон; груша была незыблемым атрибутом участка, и об уничтожении её не шло речи.

Около шершавого ствола её, под наклоном, стоял белый, сколоченный из досок щит, и братья кидали в него ножики; и было раз — нож, хитро перевернувшись в воздухе, сделал финт и вошёл в тонкую ветку ближней вишни.

— Видал?

— Ага. Здорово. Но это ж случайность.

Перед спутанной сеткой вишнёвых веток висел гамак, на котором качались, бездумно глядя в бездонность.

— Ребята, помидоры полейте! — кричала Татьяна, тётушка одного и мама другого.

Она хлопотала на веранде, готова восхитительный летний обед, и ароматы текли, как живые, в пространство...

Отвлекались от игр, бежали к теплицам.

Они огромны были и напоминали племяннику застывших, прозрачных китов, нутро которых хранило лабиринты помидорно-огуречного богатства.

Ходили босиком, и лейки — достаточно массивные — вовсе не казались тяжёлыми.

Стол был врыт в землю — обедать на свежем воздухе приятней и вкуснее; рассаживались все, и тарелки организовывали великолепный натюрморт, который будет разорён — основательно, без спешки; и разорение это связано с ощущением счастья — простого, как запах укропа или аромат в сухарях жаренных котлет.

— Едем на озёра? — спрашивал крестный.

Суета и весёлый ажиотаж мальчишек.

Старый «москвичок» никогда не подводит, и голубые озёра видны издали — огромные раковины глубокой сини, врезанной в золотистый, местами сереющий песок; и сосны, остро рвущиеся в небо, точно охраняют величие вод.

Заплывали за середину.

— А вдруг тут динозавры водятся? — говорил один брат.

— Кино посмотрелся?

— Вон тень мелькнула...

И, прекрасно понимая нелепость выдумки, спешили назад, к берегу, где среди гладких, легко втягивающих ноги песков играли в войнушку, стреляя друг в друга из палок.

О! Счастье — повалиться, изображая убитого, скатиться вниз к воде.

У кустов сновали юркие, сине-зелёные ящерики, но попытки ловить их обычно заканчивались неудачей, да и пару раз пойманных тотчас отпускали.

— А они приятные на ощупь. Кожистые такие, тёплые.

— Ребята, молочко пить! — зовёт крестный.

У «Москвича» на пёстрой подстилке трёхлитровая банка отливающего синим деревенского молока, пряники, булочки.

Ребята торопятся, ибо озёра ждут.

— Не спешите, — говорит Татьяна. — Озёра не умеют бегать.

— В отличие от вас, — добавляет Геннадий, улыбаясь в бороду.

...Баню на даче строили весело, и запах сосновой стружки — изящной, как новое, зачем-то нужное изделие, наполнял воздух.

Племянник не полюбил парилку: пот застил взгляд, и было слишком жарко, мокро; а крестный с сыном часто предавались банному отдохновению.

О! У него всё росло — у крестного; земля любила его, помидоры вызревали огромными, огурцы напоминали кабачки, и даже укроп вставал стеною.

Бабушкины цветники полыхали флоксами, розами, георгинами — этими орденами пространства — гладиолусами: в последних, как и в звёздах астр, — было нечто печальное, ибо связывалось с окончанием лета, с необходимостью школы, куда и понесут ребята небольшую часть великолепных цветов.

...Утром лучи солнца нежно щекотали лицо, и, вскочив, бежали наперегонки к ручью, чей стержень метался в руках, как пойманная рыбка.

Утром же шли на пруд — небольшой, золотисто-чёрный, и плотные пойманные караси плюхались в ведёрко, обещая замечательную похлёбку, что непременно сварит бабушка.

Их больше нет никого.

Племянник, осознавший в ранних дебрях детства, что смерть — это навсегда, уже пятидесятилетний, седобородый, потрёпанный жизнью, всё не может поверить, что осознание это так смертельно верно.

Ему всё кажется: вот он сходит на калужском вокзале (а здание напоминает огромный праздничный торт), и ехал всю дорогу в тамбуре, ибо электричка была битком, ехал, глядя в окна, наслаждаясь лентами жизни, её разнообразно-пёстрой плазмой; минует маленький скверик и по проспекту Ленина, мимо знакомых городских пейзажей, проходит город насквозь — о! городу совсем не больно от того, что чей-то путь проколет его.

Спуск по Воробьёвке, к Оке, текущей неподвижно, вспыхивающей на солнце церковной парчой, крут, и паром сейчас подойдёт, стукнется истёртым белым носом о выщерблины асфальта, и, когда заскочишь на него, железо отзовется гулко.

Потом племянник будет подниматься в гору, противоположную спуску, в крутую гору, по правой стороне которой потянутся дачи, пока по левой будут немо звучать леса, и от жары придётся останавливаться, чтобы перевести дух и напиток, обрызгавшись, из колонки, от ледяной воды которой сводит зубы, а пузыристая струя льёт по обомшелому стоку.

Потом он вступит в пределы дачного городка, обойдёт пруд, достигнет знакомого участка, откроет, звякнув задвижкой, калитку, и на веранде — ибо сумеречно уже, ибо муар сумерек всегда сопутствует фантазиям и воспоминаниям — будут сидеть бабушка, точно возглавляющая стол, дядя-крестный, тётушка...

Он — племянник — пересечёт небольшой истоптанный земляной пятачок, мысленно приветствуя и деревья, и шатры крыжовника, войдёт на веранду, улыбнётся и спросит:

— Ну что, племянника никто не ждал?

И огни счастья вспыхнут в ответ.

## КОММУНАЛЬНАЯ КАНТАТА

Вороны роняют круглые шарики грая, и медленно плывущий белый пух — тополиный июньский снег — контрастирует с ними, звонкими...

Двор, образованный суммой домов, есть часть сложной, разветвлённой лабиринтом системы — и несложно заплутать среди бесчисленных переходов, арок, тупичков, ежели не знаешь чёткого алгоритма пути.

Один из домов жёлт, громоздок, напоминает старинную хребтообразную крепость; голуби на карнизах его — что ноты, но мелодия не звучит, не звучит...

Дом наполнен коммуналками, и жизнь в нём густа, быт — что крепко заваренный, настоящий чай, не то борщ, сваренный столь круто, что ложка стоит в нём не падая.

Скрипят, стреляют половицы паркета; двери массивны, а потолки высоки — и любо ребёнку вглядываться в тонкие трещинки, представляя географическую карту несуществующей страны, мечтать.

На втором этаже живёт часовщик — дядя Костя — и ребёнок порой отправляется в гости к нему: пошуровать. — О, заходи, — приветствует его старый, с желтоватым пергаментным лицом часовщик, и ребёнок, немного робея, проходит к пузатому комоду, из которого выдвигается ящик, наполненный блёстками — колесатыми и с камешками — деталями, и, зачарованный, перебирает их, тихо бормоча что-то...

Пожилая болгарка на четвёртом этаже гадает, и пёстрые карты быстро мелькают в худых склеротических пальцах, обнажая скрытую схему чьей-то судьбы.

— Маш, рассольник выкипает! — режет воздух крик, и спешит заболтавшаяся хозяйка, спешит по длинному коленчатому коридору на огромную кухню, где четыре плиты организуют пространство, как дома организуют двор. В пасти колонки синие языки пламени — трепещут они, как крохотные флажки... А сковородок! кастрюль! Скарб людской должен бы характеризовать хозяев — да нет, всё похоже: подумаешь — сковородка обожжена сверх меры да не вычищена кастрюля...

Володька — в истёртом пальто, подвязанным сальной перекрученной верёвкой, с худым, волчьим лицом — заходит к Вальке-сестре — тихой алкоголичке.

— Буишь?

— А то!

Пьют из грязных, щербатых чашек сладкое тягучее пойло — портвейн, принесенный Володькой, дымят «Беломором», пускают ядовитую — по загубленным жизням — слезу.

Витёк — сын Олега, атлета, мастера спорта по толканию ядра, — катит по коридору на трёхколёсном велосипеде и распевает что-то, пока Любка-мать не заорёт на него или не позовёт ужинать.

Густо дана жизнь, мазки её пестрят, золотятся, чернеют...

Ребёнок во дворе слушает вороний грай, мечтая собрать блёсткие шарики в коробочку... Качели скрипят, и две девочки в песочнице строят нечто.

...Гроб вынесли из подъезда, установили на табуретах; старуха рыдала, глядя лоб дорогого покойника; полукругом стояли люди, и ритуальный автобус был запылён.

Мальчишки семи и девяти лет глядят на похороны с лестничной площадки.

— А умирают навсегда? — спрашивает младший.

— А то, — басит тот, кто постарше, в ответ.  
— Страшно?

— Ещё б...

— А давай поклянёмся не умирать никогда!

— Давай, — соглашается младший.

Летнее солнце подчёркивает запылённость окна.

Что дому чья-то конкретная смерть? Чужая трагедия? Провал в смертный проран? Масивный — стоит он вторую сотню лет; выдавший так много смертей, свадеб, радостей, горя, будто пронизанный токами времени, хранит он в себе густую-густую плазму необъяснимой жизни, хранит надёжно — будто и впрямь противоречия проискал смерти.

□

### **Александр Львович БАЛТИН**

*родился в Москве в 1967 году.*

*Поэт, прозаик, публицист.*

*Автор 84 книг и свыше 2000 публикаций в изданиях России,*

*Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Италии,*

*Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии,*

*Израиля, Эстонии, Ирана, Канады, США и др.*

*Его стихи звучат на радиостанциях «Центр», «Говорит Москва» в исполнении автора и народного артиста СССР Е. Я. Весника.*

*Переведены на итальянский и польский языки.*

*В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина»,*

*посвящённая творчеству писателя.*

*Член Союза писателей Москвы.*

